
Владимир
Высоцкий

Владимир
Высоцкий

Спасите наши души!



МОСКВА
2015

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-5
В 93

Самое лучшее, самое любимое — в книгах этой серии

Серия основана в 2001 году

Оформление художника *Е. Ененко*

Фотопортрет Владимира Высоцкого на обложке:
Валерий Плотников

Высоцкий В. С.
В 93 Спасите наши души! : песни, стихотворения. — М. : Эксмо, 2015. — 416 с.: ил.

ISBN 978-5-699-11494-8

«Ни единою буквой не лгу...» — пел Владимир Высоцкий.
Многие ли поэты могут подписаться под этими словами?

В этот сборник вошли самые лучшие, всенародно любимые стихотворения и песни Высоцкого.

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

ISBN 978-5-699-11494-8

© **Высоцкий В. С.**, наследники, 2015
© **Аннинский Л. А.**, предисловие, 2015
© **Составление, оформление.**
ООО «Издательство «Эксмо», 2015



Лев Аннинский

ВЕЧНАЯ РАЗГАДКА?

Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страной —
Перед солоно — да горько-кисло-сладкою,
Голубою, родниковою, ржаною...

Владимир Высоцкий

Кажется, разгадка на поверхности: выдержал бой с Советской властью! В самые мутно-застойные годы — пробил стенку! Взял штурмом, напором, нахрапом! Беззаконная комета! Одинокий волк, медведь-шатун, изгой, штрафник, заложник. Огни, воды, медные трубы прошел. Сказка!

Да, напор был. Лез на стенку. Но был и по дпор — та самая почва, на которой все стенки стоят. Километры магнитофонной ленты от Таганки до Магадана выстилали беззаконный путь. Под благовест собственного хрипа из выставленных на подоконники динамиков — хаживал от вертолета до гостиницы на Северах. А начальство? А начальство все эти пленки первым же и полу чало из рук собственных детей, с ума сошедших. Начальство звало автора в кабинет, слушало «Охоту на волков» и плакало так же незаконно.

А как умер — шлюзы открылись — хлынула русская

любовь, безоглядная, яростная, через все цензуры. И все, что он, ерничая и юродствуя, демонстративно отвергал, — посыпалось навалом. О газетном некрологе на последней странице в углу даже и не мечталось? — Получил — на последней, а там и на первой. Памятник в сквере где-нибудь у Петровских ворот? — Получил и памятник, нарочно и именно в том сквере. Аршинные рекламы в гробу видал? — Получил все это за гробом. Разве что на монетах вместо герба еще не отчеканили... да при нашей русской широте, да при девальвации — могут.

Если отсчитывать от стенки, которую проломил Высоцкий, разгадка — в его волевом вольном напоре. Если отсчитывать от того, насколько легко поддалась стенка, какая гнилая была и как быстро завалилась, — то разгадка Высоцкого в том, КУДА он ткнул и КАК. Удачно ткнул, точно. Не повторить.

Не повторить ни хриплого голоса, ни хулиганской повадки. Скопировать можно, найти равнозначное — вряд ли.

Но тогда — что останется от этого громогласного эпизода в истории русской культуры? От этих шестисот песен, живущих только в ТОМ голосе? Может, и в ТОМ ВРЕМЕНИ только? Легенда осуществилась сказочно быстро, с исполнением всех желаний. И только теперь начинается испытание временем.

Стремительность, с которой было сразу найдено все: тон, мелодика, образ, — поразительна. Одна только пробно-неверная нота и вырвалась — когда двадцатидвухлетний студент зарифмовал газетное сообщение о беспримерном рейде нашей заблудшей посуды к американскому берегу. Торопился бард: Зиганшина из Асхата в Асхана переименовал, а Поплавского, который ел гармошку, описал в романсовом духе: *Крутая скатилась слеза...* Отрекался потом от этой песни: пособие для халтурщиков. Однако пел. Потому что крутая слеза — это тот са-

мый стиль, в который, как в стенку, будет идти игра. И мотив (чужой), на который запелось, — блатной, рыдающий, — *Я был батальонный разведчик* — это же та самая канва, по которой будет вышит весь Высоцкий, вернее, прошит, если учесть обилие ножей и пуль в его творчестве. Только капля и нужна была, чтобы пролилась струя и пошел поток.

Капля потребовалась традиционно русская: сивушная. С первых песен, где герой выпивает, буянит, засыпает, просыпается и снова выпивает, — до последнего предсмертного парафраза из Блока: *Мы тоже дети страшных лет России, безвременье вливало водку в нас.*

И тут же — патентованно-русский ход мысли: не мы ее пьем — ее в нас вливают.

Блатной антураж строится на перманентной обиде, что кто-то нас ЗАСТАВЛЯЕТ безобразничать, что-то нас заедает (в XIX веке знали, что заедает — среда). А мы — виноватые. Но осужденные. По железной схеме: срок, рыдающая мать, рыдающая подруга, рыдающая гитара...

Но какое безошибочное чутье на адресата! К гитаре тяга есть в народе. Это значит, минуем гармонь-трехрядку! Это значит, в нынешнем народе. Народ, у которого *на левой груди — профиль Сталина, а на правой — Маринка*. У которого маршрут *от ларька до нашей бакалеи*. Который — *головой быка убил*.

Тут прелесть не в точности примет, складывающихся в габитус и диагноз, а в блестящей игре гротесковых преувеличений. Типичное: не люблю — не слушай, а врать не мешай! Неподдельное, родимое, из подворотни вынесенное: да ладно!

Да ладно — ну уснул вчера в опилках,
Да ладно — в челюсть врезали ногой,
Да ладно — потащили на носилках, —
Скажи еще спасибо, что — живой!

А ведь в этом ироническом *скажи еще спасибо* угадывается что-то потаенно-интеллигентское. Какой-то тонкий яд проскальзывает в хрипато-нахрапистый хама-хулиган. Не надо даже брать строчки на просвет... впрочем, можно и на просвет. Тогда выколота на исполосованной ножами груди Маринка вдруг напомнит Метерлинка, а уркаган-щипач-скокяр под ножом хирурга вдруг в бреду прохрипит: *Россия, Лета, Лорелея*... В протокол это, конечно, не попадет: чего кореш не прохрипит в бреду! Важнее общая мелодия: этот хулиганский треп-бред все время идет на такой запредельной ноте, что ему не то что веришь, а веришь ему именно как шепотному, притворному, заливчатски-игровому, шалому, бесшабашно-лихому, невменяемому.

Хотя невменяемость — продуманна.

По общему абрису хулиган должен быть падок на баб. Оно вроде бы так и есть: тот, который головой быка убил, — он и баб режет беспере чь, хотя и не каждый год. Он их мордует и хвастается... но чем? Если не вслушиваться, то тем самым, чего от него и надо ждать, то есть безудержным насильничаньем. Но если вслушаться — так ведь там нечто совсем противоположное. *Я теперь на девок крепкий* — куражится насильник. То есть он на девок не обращает внимания!

По шаблону хулиган должен быть антисемитом. И вроде бы он на этот счет сильно много высказывается. Но опять-таки, если вслушаться — ни намека обидного в его речах насчет евреев нет. А есть даже некоторое братание. На почве водки, естественно. То есть: Мишка Шифман пьет, как хороший русский биндюжник. И немецкие бомбы, между прочим, сыплются в 1941 году одинаково на Евдоким Кирилыча и Гисю Мойсеевну. И вообще, если вы умеете и желаете СЛУШАТЬ песни (то есть сказ-

ки), вы не обманетесь: антисемитизм у Высоцкого, разумеется, есть, но загадочно-сказочный:

Запретили все цари всем царевичам
Строго-настрого ходить по Гуревичам...

Я думаю, что Гуревичи могут спать спокойно.

Герой — все по тому же шаблону — должен, как рыба в воде, плавать в толпе, то есть в артели, то есть в общине вместе с Евдоким Кирилычами, Колянами и Иванами. Что он и делает, демонстративно пластаясь с ними то в пьянке, то в поножовщине. Да вот только толпа у него — если вслушаться и вдуматься — жуткая. Смертельно опасная. Дыбом стоит. И единение с народом включает все ту же скоморошину, которая, если не вдумываться и не вслушиваться, просто потешна. А если...

Я из народа вышел поутру —
И не вернусь, хоть мне и предлагали.

Станислав Куняев, понимающий эти проблемы без всякой скоморошины, просек этот балаганчик моментально. И отверг Высоцкого со всей яростью идейного борца — отверг начисто и бесповоротно от имени то го самого народно-патриотического фронта, к которому Высоцкий по всей своей народной звуко-физиономике вроде бы должен принадлежать. Не к высоколобым же диссидентам! Ибо есть бега, а есть балеты. Втихаря Высоцкий, может, и смотается на балет, то есть на Метерлинка, то есть туда, где водится Лета-Лорелея, но на балете его наши мужики сроду не увидят, а вот что он заявится на бега да не пропустит и бильярдной, — это факт, и тут наши мужики его не только увидят-услышат, но и признают-таки своим. В отличие от Станислава Куняева.

Загранку — и ту простили! Это же вообще неслыханно: чтобы наш, коренной, народный, в доску свой — же-

нился бы на парижанке и в дарился в заграницы! Да ему в спину должны заорать, как иуде! *В Париж мотает, словно мы — в Тюмень!*

И что же? Ничего похожего. Он — мотает. А мы — не только не клянем его, но даже одобряем, а если и завидуем, то — исключительно по-хорошему. И не по той причине, что он там ведет себя по-нашенски, то есть лузгает на Елисейских полях семечки, а в кабаке садится на колени французу, ест из его тарелки руками и кричит: Друг! За что боролись?! Ему вовсе и не обязательно там, в загранке, так русопятствовать. Он там может надеть фрак и цилиндр — и все равно будет наш. Народ все чует. Это — как с Маяковским, который ще голял по Парижу и Нью-Йорку в модных шмотках, а российский пролетариат, по пронизательному наблюдению Цветаевой, не только не корил его за измену синим блузам и красным флагам, но даже и гордился: наш-то вона куда залетел!

Вот так же наш российский люмпен гордился Высоцким, когда тот пошел гулять по Парижу.

Да что говорить: ему сошло даже то, что он сыграл положительного... милиционера — оперативника Жеглова. По габитусу-то у его героя — что с милиционером общего? Да он мусоров ненавидеть должен! А он: *Побудьте день вы в милицейской шкуре — вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в МУРе — за тех, кто в МУРе, никто не пьет.* И что? Выпили. И еще раз выпили. И еще. Все свои.

Высоцкому простили, от Высоцкого приняли, из рук Высоцкого сожрали все, хотя вроде бы он воплощался в таких героев, которые на чисто, напрямую противостояли и противоречили первоначальному анархо-бунтарскому разному.

Да так ли уж противоречили?

Система его воплощений по-своему логична. Элементарный ход: от забулдыжного хулигана — к картинному пирату с ножом в зубах. Далее — к пещерному человеку с дубиной. Далее — к какому-нибудь зверю-хищнику, соседу по ветви на древе эволюции. А там и до жирафа недалеко: *Жираф большо-ой — ему видней*. Фантазия железно срабатывает, потому что построена по безошибочно найденной стилистике тюремного романа.

Другая цепочка не менее логична: хулиган — псих с Канатчиковой дачи — смертник из штрафбата — десантник, которому жизнь не дорога...

В сущности, так или иначе все у Высоцкого упирается в войну. Дубинами или танками-самолетами, но все гда у него — драка, бой, схватка, атака, штурм, напор, прорыв, рваные глотки, разбитые черепа, выпущенные внутренности. Солдатский надсад — самый точный адрес для уникального хрип-вокала.

В этом есть, я думаю, глубокая интуиция. Когда-то древнегреческие мудрецы много спорили, что из чего и, в частности, что фундаментальней: афинская мерность, спартанская доблесть или еще что-нибудь. А Гераклит взмыл надо всем этим и понял: причина — персы, бесконечная война греков с персами; из войны — все.

Поколение последних идеалистов, выдвинувшее Высоцкого, выварилось добела в социализме, коммунизме и прочих идеях; поэтому трудно было понять, что сталинские лагеря, троцкистские трудовые и прочая советская казарма — не от марксизма-ленинизма, а от двух мировых войн, располосовавших Россию, и от ожидания третьей... Высоцкий — не Гераклит, разумеется, и вообще все-таки не философ, но что в основе всей той вывернутой реальности, которая ему досталась, лежит ярость дерущегося солдата, — он почуял шкурой. Экипировка 1941 года приросла к нему сразу и намертво. Его записа-

ли во фронтовики, не в даваясь в возрастную арифметику, так что, отвечая на письма слушателей, он должен был объяснять, что войну первоначально вычитал из книжек. Все равно по психологической первооснове он был тем, кого пел: окопником, блокадником. *Я вырос в ленинградскую блокаду...* — и все тут. И никакого никому нет дела до того, что вырос Высоцкий на семь лет позже в отвоеванном польском городке, в семье советского офицера (оккупанта — сказали бы еще на семь лет позже), — ведь по типу, по складу, по устремлению души он действительно — шкет, чинарики собирающий с-под платформы, сирота, сын полка. Цепочка военных переназначений — самая геройская: герой-летчик, герой-парашютист, герой-подводник. Нужды нет, что, вступая в воздушный бой, наши соколы переговариваются, как заправские шулера: *будем играть... равнять козыри*, — главное, что это люди, выросшие в народе, где нормальная ситуация — когда все ушли на фронт.

Вот, однако, дальнейшие превращения воина уже в мирное время: подводник — аквалангист — спасатель... Альпинист-скалолаз... Далее силовики выходят на Большую Спортивную Арену. Впереди боксер. За ним — штангист. Затем — футболист, кумир послевоенной публики. И дальше — по олимпийской программе: метатель молота, прыгун в высоту, прыгун в длину... А шахматы?! — возопит ядовитый оппонент Высоцкого. Как же, есть и шахматы! Вон один наш сел против Шифера, то бишь Фишера, да в трудный момент кулак ему из-под стола показал, — так Фишер, то бишь Шифер, сразу на ничью согласился!

Смех смехом, но если к этой славной галерее типов добавить шахтера да шофера, о которых Высоцкий тоже сложил вдохновенные и достоверные песенки, — получится не что иное, как шеренга положительных героев,

освященных всеми идеологами Советской власти за все ее восемьдесят лет. И сотворил эту шеренгу — тот самый Высоцкий, который от лица бунтующего народа всю свою сознательную актерскую жизнь разносил эту Власть! И она его простила? Простила. И понятно, по чему. Как-никак в годы, когда пошел он писать и играть в театр и кино, то честно отработал шеренгу таких крутых первопроходцев, таких образцовых для подражания отличников эпохи, таких надежных восходителей — *лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!* — что Власть должна была ему быть благодарна.

Власть — да. Но почему ему все простил — народ? Простил именно эту череду официально-признанных героев — от альпиниста до милиционера, — шеренги, которая начисто, казалось бы, вывернула первоначальную фигуру своего парня — выпивохи и дебошира — во что-то положительно противоположное.

Вывернула. Но не отменила. Тут — главная загадка поэтической и артистической судьбы Высоцкого и, я думаю, ее разгадка. Выворот смыслов. В кого угодно может воплотиться и превратиться лирический герой: в бандита из подворотни, в грека из анекдота, в невменяемого психа, косматого жлоба или героя-летчика, — но вы не ухватите, где же его подлинность. Потому что подлинно здесь — само превращение, невесомость перехода, упоение маской. Иногда герой берет себе напрокат имя. Иногда это Ваня, чаще Николай, но, между прочим, никогда — Владимир. Точнее же всего вот что: *У меня было сорок фамилий, у меня было семь паспортов*. Смена паспорта — экстатическое мгновение, обретение вожеленного лица, нервный катарсис. Если бы поэзия Высоцкого была бы ориентирована на один какой-нибудь тип, это и было бы припечатано — одна мелодия на все песни. Но непрерывное и бесконечное перевоплощение — это та са-

мая внутренняя горячка, которая выплавляет неподдельную строфику-мелодику Высоцкого. Это веселое наращивание абсурда. Этот покупательский кавардак мужика в городе: *Где же все же взять доху, зятю — кофе на меху? Тестю — хрен, а кум и пивом обойдется. Где мне взять коньяк в пуху, растворимую сноху? Ну а брат и самогоном перебьется!* В чем прелесть? В непрерывном вывороте смыслов. Жизнь — наоборот. Входишь через черный ход — выходишь в окна. Жизнь моя — и не смекну, для чего играю.

Для чего? — вопрос вполне арифметический. Алгебра же состоит в том, чтобы вопрос не возникал. Ни один облик, схватываемый в нервическом экстазе, не должен быть удержан как постоянный; от всякого облика хочется немедленно освободиться. То есть, по-народному говоря, сбежать. Какая ж там гармония? Как какая! Перевернутая. Жизнь обратным счетом.

Очень русский, очень народный ход воображения: это все, что имеется, не считать, а начать все заново. Очень русский, очень народный инстинкт — инстинкт народа, собранного с гигантских пространств и в гигантские пространства глядящего. Хорошо там, где нас нет. Опоньское царство — вечный магнит для русского скитальца. Наш, если и сидит сиднем, то просто разрывается от соблазна все спалить, бросить и податься на край света. Объяснять это по-умному глупо: получатся общепринятые перлы, которыми, впрочем, Высоцкий виртуозно пользуется, маскируя горячку духа. И вообще: есть вопросы, на которые нет и не будет ответов. Ответы — для умников. А мы, Бог даст, проходим в дураках. Дурацкое примериванье одного колпака за другим, одной маски за другой, одного карнавального носа за другим — и есть тот самый бред, который конгениален бредовой ситуации: